

СТОИТ ЛИ ЖИТЬ¹

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

Митрополит Антоний, которого часто приглашали выступать в медицинских учреждениях, особенно занимающихся уходом за тяжело больными или умирающими пациентами, говорит о понятии качества жизни с неожиданной для медиков стороны. Качество жизни больного он предлагает рассматривать с общечеловеческой точки зрения достоинства, цели, смысла существования человека. Митрополит Антоний проводит параллель между тяжело больными людьми и людьми, зачастую добровольно оказавшимися в других экстремальных ситуациях.

Если я правильно понимаю тему сегодняшней беседы, то она сводится к вопросу «стоит ли жить?», потому что понятие качества жизни настолько разнится в зависимости от культуры или обстоятельств, что трудно представить себе такое качество, которое удовлетворило бы всех.

Поэтому я возьму несколько примеров и постараюсь с их помощью объяснить, что я понимаю под качеством жизни и под представлением, которое у каждого из нас может сложиться — или не сложиться, — что жизнь стоит прожить.

Мой первый опыт, в этом отношении — чрезвычайно сильный, относится к послевоенному времени, когда узники нацистских концлагерей стали возвращаться во Францию. Это были люди разных национальностей, но их объединяло то, что все они прошли через страшный и порой разрушительный лагерный опыт.

Я нес о них заботу полтора года, и у меня было достаточно времени расспросить, каково им пришлось. И я обнаружил, что они уцелели, потому что страстно хотели выжить. И это очень важно, потому что когда мы рассуждаем о качестве жизни из благополучия окружающего нас мира, мы думаем о том, как улучшить то, что уже имеем, как приобрести еще больше, как стать еще счастливее. Их же существование было сведено к абсолютному минимуму, когда значение имели только самые основные нужды: не умереть, выжить. Поскольку в лагере все де-

¹ Беседа митрополита Антония в медицинском учреждении 25 июня 1990 г.

Пер. с англ. Е.Ю. Садовниковой под ред. Е.Л. Майданович. © Metropolitan Anthony of Sourozh Foundation.

лалось, чтобы их уничтожить, вопрос выживания приобрел для них особый смысл, который нам неведом, просто потому что жизнь нам дается легко, естественно, нас поддерживают в стремлении жить или даже приноуждают жить вопреки нашему нежеланию существовать дольше, чем природа нам, казалось бы, определила.

Это — первое: качество жизни, оценка его, желание жить во многом зависят от того, существует ли радикальная угроза жизни. Концентрационный лагерь представлял радикальную угрозу жизни. Это чрезвычайно важно и существенно, потому что помимо ситуации, когда на жизнь посягают самым чудовищным образом, существуют менее страшные ситуации, — ситуации, которые нам кажутся менее страшными, потому что мы в них не оказывались.

Взять, к примеру, отсутствие жилья и голод. Когда у нас или в любой западной аудитории заходит речь о голоде, и стар и млад считают, что голод — просто хороший аппетит. Мы нередко говорим: «Я зверски проголодался», — и это означает всего лишь: «Я не прочь плотно закусить». Но голод не имеет ничего общего с хорошим аппетитом. Я это знаю на собственном опыте. Когда я был студентом-медиком, на еду средств не хватало, потому что нужно было учиться и зарабатывать, чтобы оплачивать учебу и еще как-то существовать. В какой-то момент я дошел до такого состояния, что, идя по улице, вынужден был присаживаться на тротуар каждые пятьдесят шагов, потому что не было сил идти дальше. Это был голод, но даже он не идет ни в какое сравнение с тем, что мы читаем или слышим по телевидению в передачах о голодающих в Судане, Эфиопии, Бангладеш и в других странах мира. Такой голод тоже представлял угрозу жизни, когда все, что нужно, — это держаться; держаться, собрав всю энергию, все мужество, когда стремишься не к роскоши, не к излишествам, а стремишься выжить, и ради этого готов на все, что допустимо в пределах морали и нравственности.

Голод и предшествующие годы бездомности меня кое-чему научили. Они научили тому, что в жизни есть чрезвычайно драгоценные вещи, о существовании которых люди, живущие в благополучии, не догадываются. Я вам дам еще один пример. В годы немецкой оккупации я был во французском Сопротивлении и поэтому не мог найти работу. Я жил уроками и перебивался случайными заработками. Помню, как-то я не ел пару дней и зашел к своему товарищу-одногодке (мне тогда было лет 29—30). На кухонном столе у него, точнее просто на столе, который был в его комнате, я увидел огурец, о — всего лишь с палец длиной. Больше я не видел ничего: ни его лица, ни комнаты — только огурец во всем его великолепии: это была еда! Может быть, это кажется смешным; можете надо мной посмеяться, но так оно и было: мой приятель посмотрел на меня, посмотрел на огурец и спросил: «Ты давно не ел?» Я сказал: «Давно». —

«Тогда мы его поделим». И этот молодой человек, мой ровесник, скорее всего, такой же голодный, как я, разломил огурец пополам. И ни разу за всю жизнь я не ел пищу с таким благоговением, как эти пол-огурца. Для меня эти пол-огурца стоят особняком — как цена жизни. Это была возращенная мне жизнь, абсолютная ценность.

Я даю вам эти примеры, потому что в условиях нашей действительности мы привыкли предъявлять качеству жизни очень высокие требования. В обстоятельствах моей юности, военного и послевоенного времени качество жизни зависело от крошечных вещей, но таких, которые были бесценны, значительны, потому что этот кусочек огурца был не только пищей, это была щедрость сердца голодного юноши, делящегося тем малым, что у него есть. Если хотите, по выражению одного из наших молодых богословов, это была любовь Божия, ставшая съедобной и переданная мне через братскую любовь другого человека.

Поэтому вопрос качества жизни нужно продумывать не только в привычных категориях, но гораздо шире и глубже.

Есть еще одна сторона у качества жизни, которая, я думаю, важна, это цель. В моем маленьком примере и в случае узников концентрационных лагерей цель ясна: выживание. Качество жизни снижалось или, наоборот, улучшалось в зависимости от любого события, которое делало выживание возможным или невозможным, которое давало или отнимало шанс на выживание. Это могло быть нечто совсем малое: найти укрытие в тот момент, когда тебя преследует гестапо, получить кусочек пищи, — миг, когда случается нечто незначительное само по себе, но в то же время бесценное для тебя. Я дам вам еще один пример.

Во время войны я был военным хирургом и работал в прифронтовом госпитале. К нам привезли пленного немецкого солдата, раненного в руку. Рана нарывала так, что указательный палец правой руки подлежал ампутации, и мой начальник жестом приказал это сделать. Солдат поглядел на нас и сказал по-немецки: «Я — часовщик». Знаете, что означает для часовщика потерять указательный палец? Он — конченный работник, ему нечем прокормить не только себя, но и свою семью. Я пообещал лечить его, попытаться спасти палец и работал над ним три недели вопреки своему начальнику, который сказал: «Ты сошел с ума: идет война, а ты три недели будешь возиться с каким-то пальцем!» Но я и сейчас считаю, что был прав, потому что, возможно, вплоть до сего дня где-то в небольшом городке или деревне Германии живет человек, который смог вернуться домой, кормить свою семью, выжить и теперь вспоминает неразумного молодого хирурга, потратившего ради этого свое время. Качество жизни для него заключалось в здоровом пальце, а для меня цель состояла не в том только, чтобы спасти палец, дело было не в хирургической операции, а в том, чтобы совершить человеческий поступок, смысл которого намного

превосходил палец и судьбу этого человека. Он охватывал всю его семью, создавал новую ситуацию, новые отношения между пленным и его врагами, создавал среди войны оазис гуманности и любви.

Есть еще смысл. Это не совсем то же самое, что цель. Смысл — это значение, которое ты придаешь тому, что с тобой случается в жизни или на пороге смерти. Я снова приведу пару примеров, которые объяснят все лучше, чем можно передать рассуждениями.

Первый пример — русская монахиня, мать Мария. Ее арестовали немцы за то, что она спасала евреев, давая им приют у себя в доме, и отправили в концентрационный лагерь, где она провела около двух лет. Здесь примечательны две вещи.

Первое: она отдавала половину своего пайка слабым и больным, кому грозила смерть от голода. В этом был смысл, а не цель. Цель была бы — выжить самой, а сознание смысла привело к тому, что ей стало безразлично, выживет она или нет, важно было, чтобы выжили другие.

Второе: она так же и умерла. В лагере отобрали группу женщин, чтобы послать их в газовую камеру на смерть. Одна из них, девушка лет 19-ти, билась и кричала в ужасе, и мать Мария подошла к ней и сказала: «Не бойся: последнее слово не смерть, а жизнь». Девушка ее спросила: «Вы в это верите? И можете доказать мне?» Мать Мария ответила: «Да, могу: я пойду с тобой в газовую камеру», — и она присоединилась к группе, пошла в газовую камеру и умерла с тем, чтобы превратить смерть этой девушки в событие, полное надежды, а не отчаяния.

Говоря на этом уровне, можно привести и другие примеры. Моего старого друга, лет на 25 старше меня, немцы отправили в концентрационный лагерь по той же причине. Когда через четыре года он вернулся, я встретил его на улице и спросил: «Что вы принесли из лагеря?» — Он ответил: «Тревогу». — «Вы потеряли веру?» — «Нет; но пока я находился в лагере, подвергался насилию, жестокости, пока был на грани смерти, я в любой момент мог обратиться к Богу и сказать: “Отче, прости им, они не знают, что делают”. Теперь я на свободе и тревожусь за тех людей, которые нас так зверски мучили, потому что не знаю, переменялись ли они, раскаялись ли, сожалеют ли о содеянном. И когда я за них молюсь, не ответит ли Бог на мои молитвы: “Теперь-то тебе легко молиться: ты больше не страдаешь. Чем ты докажешь искренность и подлинность твоей молитвы?”» Это — еще один пример того, как человек обрел смысл в страданиях: страдание наделило его правом прощать, и он обнаружил цель, ради которой стоит жить в таких условиях.

Еще один пример: несколько лет назад в Латвии под Ригой я встретил священника моего поколения, который провел в концентрационном лагере и тюрьме 26 лет. Он сидел на койке напротив меня и с сияющими благодарностью глазами говорил: «Представляете себе, как добр был ко

мне Бог? Советские власти не допускали священников ни в тюрьмы, ни в лагеря, и Он выбрал меня — молодого, неопытного священника, и поместил на 5 лет в тюрьму и на 21 год в концентрационный лагерь, чтобы я мог служить людям, которые нуждались во мне больше, чем те, которые остались на свободе». Для него опыт 26 лет пребывания в концентрационном лагере и тюрьме стал предметом благодарности: Бог был милостив, добр к нему, указал ему цель, и эта цель наполнилась для него абсолютным смыслом.

Если мы снова вернемся к вопросу качества жизни, нам нужно серьезно задуматься, каковы его составляющие. Что делает жизнь качественной? Роскошь, достаток, возможность иметь все, о чем ни помечаешь? Или нечто гораздо более основополагающее: ощущение ценности жизни как жизни в ее обнаженности, ощущение того, что смерть — ничто в сравнении с этим. В древние времена люди говорили: имей память смертную. Когда это говоришь современному человеку, реакция такая: «Ты хочешь сказать, что память о смерти должна каждое мгновение омрачать любую радость в жизни?» Нет, не это они имели в виду. Они хотели сказать, что пока ты не способен встретить смерть лицом к лицу, бесстрашно смотреть ей в глаза, ты не можешь жить со всей полнотой. Лишь приняв без страха вызов смерти, мы сможем не дрогнуть перед вызовами, которые бросает нам жизнь.

Французский писатель Рабле пишет в одном из своих писем: «Я готов стоять за свои убеждения вплоть до повешения, исключительно». Если вы готовы постоять за свои убеждения, за свою веру, не обязательно религиозную — веру в жизнь, веру в людей, веру в человечество — «вплоть до смерти — исключительно», ваши убеждения ничего не стоят. Об этом нужно задуматься.

Так ли уж страшна смерть, когда оказываешься с ней лицом к лицу? У меня есть еще пять минут, поэтому я могу дать вам еще один пример. Мне трудно об этом говорить, но я считаю, что вы имеете право на примеры, даже если они причиняют боль докладчику. Моя мать умирала от рака дома, после длительной болезни. Ее оперировали, операция прошла неудачно. Хирург сообщил мне об этом и добавил: «Разумеется, вы ей об этом ничего не скажете». Я ответил: «Обязательно скажу». «В таком случае, — заявил хирург, — я отказываюсь ее лечить, потому что она придет в отчаяние». Я пошел к матери и все ей рассказал. Она на меня посмотрела и спросила: «Значит, я умру?» — «Да». И потом мы долго сидели молча. Долго не по минутам, а по глубине сосредоточенности и по тому, насколько это молчание проникло в самую сердцевину души. И мы вышли из этого молчания, обогащенные новым опытом.

Мы обнаружили, что нам стало нечего скрывать друг от друга, что между нами не было того, что зачастую вкрадывается в отношения меж-

ду умирающими и их окружением: семьей, врачами, медицинскими сестрами, друзьями, — не было лжи. Не было лжи, создаваемой и теми и другими: самим умирающим, который знает, что на нем печать смерти, но улыбается и делает вид, будто впереди только жизнь, и окружающими, которые поддерживают эту ложь.

Между нами не было неправды, и поскольку ее не было, это давало нам возможность проживать каждую минуту вместе со всей полнотой, какую она несла, потому что эта минута могла оказаться последней, и, поскольку она могла оказаться последней, ее нужно было прожить совершенно. Каждое слово могло оказаться последним, поэтому оно должно было вместить, воплотить всю любовь, все отношения, все, что было между нами. Каждый жест, самый обыденный, мог стать выражением безразличия и небрежности — или любви, заботы и нашего единства.

Мы обнаружили, что приготовить поднос с чашкой чая так, чтобы он был красив, может стать выражением любви и вместить в себя 40 или более лет совместной жизни. Мы обнаружили, что нет ничего слишком незначительного, чтобы оно не могло стать воплощением любви, выражением подлинных отношений.

Я думаю, что это имеет отношение к качеству жизни. Если мы не научимся открыто смотреть смерти в лицо, нашей собственной смерти и смерти других людей (вместе с ними, не в разобщенности, в разобщенности смотреть смерти в лицо невозможно), наша жизнь никогда не приобретет того высшего качества, которое позволяет узникам в концентрационных лагерях и тюрьмах, неизлечимо больным или тем, кто подвергается смертельной опасности на войне или в других обстоятельствах, принять вызов и сказать: «Я живу, победа за мной!»

QUALITY OF LIFE

METROPOLITAN ANTHONY SOUROZH

Metropolitan Anthony was frequently invited to speak by medical institutions, particularly by those caring for terminally ill or dying. In his talk he approaches the notion of the quality of life from an unexpected angle. He suggests that the quality of life is inseparable from the notions of human dignity, the aim and the purpose of life. Metropolitan Anthony compares the condition of a terminally ill patient with the situation of people who — often willingly — survive or die in other extreme conditions.